

Записано с моих слов



Николай Болатаев

18+

Николай Болатаев

Записано с моих слов

«Автор»

2026

Болатаев Н.

Записано с моих слов / Н. Болатаев — «Автор», 2026

1937 год. Ленинградская машинистка печатает протокол допроса дважды: утром «Нет, не признаю», через час «Да, признаю, с моих слов записано верно».1941-й. Берлинская клерк заполняет карточки по процессам над ведьмами и понимает, что тридцать семь граф не вмещают главного.1951-й. Стенографистка комитета записывает то, что просят не записывать.1977-й. Помощница секретаря суда в Буэнос-Айресе каждый день печатает два слова: «не значит».1978-й. Продавщица пишущих машинок в Лейпциге знает, что у каждой машинки своё лицо.2026-й. Рецензент жалоб в Лиссабоне получает сорок пять секунд на чью-то судьбу.Шесть женщин, шесть систем, одна копирка: она сохраняет всё, что было напечатано, и зеркальный отпечаток того, что было на самом деле.«Записано с моих слов верно» — вторая книга цикла, начатого романом «Охотники на ведьм». Читается независимо.Шесть стран, шесть эпох, шесть женщин за пишущими машинками. Каждая печатает то, что велено. И каждая оставляет себе нижний лист копирки.

© Болатаев Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Копирка	5
Глава 1. Семьдесят две строки	6
Глава 2. Проходная	9
Глава 3. Под диктовку	12
Глава 4. Главная книга	15
Глава 5. Чай	18
Глава 6. Правила Анны Марковны	20
Глава 7. Заменить	22
Часть вторая. Карточка	26
Глава 1. Тридцать семь граф	27
Глава 2. Графа двадцать девять	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Николай Болатаев

Записано с моих слов

Часть первая. Копирка

Ленинград, ноябрь 1937 года

Глава 1. Семьдесят две строки

Вера Громова знала, сколько ударов приходится на страницу.

Тысяча восемьсот, если печатать плотно, через один интервал, без полей. Тысяча четыреста, если протокол с отступами и подписями. Девятьсот, если справка. Она считала не нарочно: счёт сам шёл в голове, как у железнодорожника, который, не глядя, слышит стыки рельсов. Раз, два, три. Ударил, каретка скакнула, звякнул колокольчик, перевёл. Раз, два, три.

В машинописном бюро на четвёртом этаже работало девятнадцать женщин, и от их работы воздух в комнате был плотным, как в ткацком цехе. Стрекот сливался в один непрерывный звук, ровный и сухой, как дождь по жести. К нему привыкали за неделю. Через месяц переставали слышать. Потом, ночью, дома, в коммунальной квартире на Петроградской, Вера просыпалась от тишины и не могла понять, что случилось.

Было девять утра, четырнадцатое ноября. За окном шёл мокрый снег, превращаясь на подоконнике в серую кашу. Над Литейным проспектом висел плотный туман, и из-за него Большой дом казался ещё больше, чем был: серый, прямой, с тяжёлым подъездом, у которого с шести утра стояла очередь женщин с узелками. Вера не смотрела на них. Она давно научилась не смотреть вниз, когда приходила на работу.

— Громова.

Старшая машинистка Анна Марковна стояла над ней со стопкой бумаг. Анна Марковна была женщиной лет пятидесяти, сухой, прямой, в тёмном платье с белым воротничком, и пахла от неё всегда одним и тем же: лавандовым мылом и бумагой. Она ни разу за два года не повысила голоса. Она вообще говорила так, словно каждое слово стоило ей лишней копейки.

— Из шестого кабинета. Срочно. К обеду.

— Сколько экземпляров?

— Четыре.

Вера кивнула. Взяла стопку. Это были рукописные листы, исписанные размашистым почерком, с вычёркиваниями, стрелками, вставками на полях. Почерк она знала: следователь Кравец, Сергей Павлович, худой, моложавый, с мягкими глазами и тихим голосом, который по коридору всегда проходил, чуть склонив голову, будто боялся задеть дверной косяк. Он ей нравился. Это было странно и неприятно, и она старалась об этом не думать.

Вверху первого листа стояло: *Протокол допроса.*

* * *

Она заправила в каретку четыре листа с тремя прослойками копирки, выровняла по линейке и отбила заголовок.

Копирка была дорогая. Её выдавали по счёту, пачку на три дня, и использованные листы в конце смены сдавали под роспись старшей машинистке в железный ящик с замком. Один раз в неделю ящик увозили. Зачем, Вера понимала. Копирка берёт в себя всё, что напечатано, но не прямым, а зеркальным отпечатком: возьмёшь старый лист на свет, повернёшь, и прочтёшь слово в слово, что было в каком-нибудь протоколе. Все знали, что так делают. Все знали, что за это бывает.

Поэтому ящик и был.

Протокол допроса. 1937 года, ноября 13 дня. Я, следователь Ленинградского управления НКВД Кравец С. П., допросил в качестве обвиняемого Лозинского Бориса Аркадьевича, 1889 года рождения, уроженца Ленинграда, преподавателя математики...

Она печатала, не думая. Рука знала формулы. Анкетные данные, год и место рождения, социальное происхождение, партийность, судимость. Дальше шли вопросы и ответы. Следователь писал вопросы в одну строку, а ответы в две-три, и сперва ответы были короткими. Вера читала их по мере того, как набирала, и первые строки её не удивили.

Вопрос: Признёте ли вы себя виновным в участии в контрреволюционной организации?
Ответ: Нет, не признаю. Я не знаю, о какой организации идёт речь.

Вопрос: Вам известны лица, состоявшие в этой организации? *Ответ: Мне ничего не известно. Я преподаю математику в школе на Васильевском острове. Я не занимаюсь политикой.*

Дальше шло много таких строк. Вопросы повторялись, чуть изменяясь, как уже бывало на других протоколах. Лозинский отвечал медленно, обдуманно, с каким-то усталым достоинством, как человек, привыкший объяснять трудное тем, кто не хочет понимать. Вера слышала в этих строках голос, хотя никогда его не слышала. Низкий, чуть надтреснутый. Почему-то ей казалось, что он носит очки с толстыми стёклами.

Вопрос: Знаете ли вы Рогожина Н. И.? *Ответ: Знаю. Он преподавал у нас физику. Я не знаю о нём ничего дурного.*

Она остановилась на запятой. Рука продолжала считать: один, два, три. Каретка скакнула. Колокольчик.

Семьдесят две строки. Лист кончился. Она вынула первый экземпляр, положила на стопку, вставила следующий лист и продолжила.

* * *

Черновик Кравца кончался на тридцать седьмой странице словами: *Ответ: Нет, не признаю.* Дальше шла пустая страница и приколотая скрепкой записка: *Вера Ильинична, жду через час. Новая редакция. С. К.*

Она отнесла протокол в шестой кабинет и вернулась. Через час прибежал курьер, молодой, прыщавый, в сапогах, вонявших дегтем. Положил на стол новые листы. Те же страницы, тот же почерк. Только в самом начале, под анкетными данными, чьей-то рукой, аккуратной и твёрдой, было вписано сверху красными чернилами: *Заменить.*

Она села. Взяла первый лист новой редакции. Прочла.

Вопрос: Признёте ли вы себя виновным в участии в контрреволюционной организации? *Ответ: Да, признаю. Я состоял в контрреволюционной организации бывших офицеров и интеллигенции, ставившей целью свержение Советской власти.*

Она перечитала. Потом, не отрывая взгляда от листа, положила пальцы на клавиши. Они лежали сухо и холодно, и она не сразу сообразила, что боится нажать.

Вопрос: Вам известны лица, состоявшие в этой организации? *Ответ: Да. В организацию входили Рогожин Н. И., Бельский А. А., Мещерский В. П.*

Рогожин, Бельский, Мещерский. Три имени, и ни одно из них не звучало в первом протоколе.

Она ударила по клавише.

Первая буква. Вторая. Каретка пошла, колокольчик звякнул. Вера печатала, и мир вокруг сужался до сухого стрекота. Слева и справа работали другие женщины. Через стол от неё Нина Вострикова, молодая, румяная, с круглым лицом, быстро и весело печатала что-то, напевая вполголоса. Анна Марковна прохаживалась между столами, ничего не видя и всё замечая. За окном шёл снег.

Вопрос: Подтверждаете ли вы свои показания? *Ответ: Подтверждаю. Показания мне прочитаны, с моих слов записано верно.*

Она отбила последнюю строку. Подпись, место для подписи. Вынула листы. Четыре экземпляра, четыре идеальных листа, и три прослойки копирки между ними.

Вера положила листы на стопку. Потом взглянула на копиру.

Три чёрных полотна, тонких, как крыло насекомого, лежали перед ней, исчерченные зеркальными строками. Верхнее, самое первое, читалось ясно: на нём остался отпечаток только что напечатанного, чистого, с чёткими буквами. Нижнее было чуть бледнее. Но самое интересное лежало в середине. Вера взяла среднее полотно, поднесла к лампе и повернула.

На обороте, наложившись поверх нового текста, проступал другой, более бледный, давно напечатанный час назад. Те же страницы, то же место. Только слова другие.

Нет, не признаю. Я не знаю, о какой организации идёт речь.

Она не сразу поняла, что произошло. Потом поняла. Утром она перепутала порядок листов: прослойки лежали не в том порядке, и новый протокол лёг поверх того же полотна копирки, на котором час назад был напечатан старый. Оба текста остались на нём, один поверх другого, как два слоя на палимпсесте. Сверху подтверждение, снизу отрицание.

Показания мне прочитаны, с моих слов записано верно.

Нет, не признаю.

Лампа мигнула. Вера опустила лист.

* * *

В обед Анна Марковна вскрыла железный ящик и вызвала всех по очереди.

Это делалось каждый день: пачка копирки, выданная утром, возвращалась вечером или в обед, лист в лист, под подпись. Старшая сидела за маленьким столом у окна с большой тетрадью и красным карандашом. Каждая женщина подходила, клала на стол использованные листы, расписывалась, получала новые. Вера дождалась своей очереди. Она стояла в хвосте, держа свои три листа в левой руке, прижав к боку. Правой рукой теребила край блузки.

Нина Вострикова впереди неё сдала свои. Анна Марковна пересчитала: четыре. Подписала. Нина ушла, тихо хихикнув над чем-то в коридоре.

— Громова.

Вера подошла. Положила на стол два листа. Второй. Первый, самый чистый, самый верхний.

Анна Марковна пересчитала. Подняла глаза.

— Три.

— Два, Анна Марковна. Один я испортила. Пятно легло. Выбросила.

— Выбросила, — повторила Анна Марковна.

Она не сказала больше ничего. Просто смотрела на Веру спокойными, очень светлыми глазами, и в этом взгляде не было ни подозрения, ни вопроса. Было только то, что бывает, когда человек уже что-то понял и сейчас решает, как поступить.

Вера стояла. Руки у неё были мокрыми. Третий лист, сложенный вчетверо, лежал под блузкой, прижатый к рёбрам, и каждый вдох чувствовался как удар. На нём было два протокола, один поверх другого, и в обоих стояла подпись, которой там не было.

Анна Марковна опустила глаза в тетрадь. Красным карандашом поставила в клеточке крестик.

— Следующий, — сказала она.

Вера расписалась. Взяла новые листы. Вернулась к столу, села, заправила в каретку чистую бумагу. Линейка, поля, интервал. Перед глазами стоял туман.

Раз, два, три.

Она напечатала первую строку нового протокола, потом вторую, потом третью. Она не знала, что в них написано. Она знала только, что сегодня вечером ей придётся пройти через проходную, мимо двух часовых и дежурного, который проверяет сумки, и что через четыре часа у неё внутри будет лежать лист, о котором ни одна душа на земле не должна узнать.

А если бы кто-то спросил, что на нём, она бы ответила честно: *семьдесят две строки.*

Глава 2. Проходная

В шесть вечера бюро опустело за десять минут.

Женщины одевались молча, торопливо, как на вокзале. Нина Вострикова напоследок рассказала шёпотом про какую-то очередь за сапогами и убежала. Анна Марковна запирала железный ящик. Звук ключа, повернувшегося два раза, Вера слышала ещё в коридоре.

Лист лежал у неё под блузкой, сложенный в четыре раза, и за четыре часа успел согреться от тела. Поверх блузки она надела кофту, поверх кофты пальто, и всё равно ей казалось, что бумага шуршит при каждом вдохе. Она шла по коридору, считая плитки. Восемнадцать до лестницы. Сорок две ступени вниз. Раз, два, три.

У проходной горел яркий белый свет. Часовой, совсем мальчик, с красными ушами, смотрел в пропуск, не поднимая глаз. Дежурный сидел за деревянной стойкой и открывал сумки. Он делал это лениво, без злости, как делают то, что делали тысячу раз. Он вытряхивал содержимое на стойку, ворошил пальцем, и сумка возвращалась хозяйке.

Перед Верой стояла женщина из машбюро третьего этажа. У неё в сумке нашли пакет с чаем, и дежурный долго смотрел на пакет.

— Откуда?

— Муж привёз. Из командировки.

— Муж, — сказал дежурный. И отложил пакет в сторону, не сказав больше ничего. Женщина побелела.

Следующей была Вера.

Она положила на стойку сумку. Дежурный, не глядя на неё, раскрыл застёжку. Платок, кошелек, расчёска, две ржаные корки в бумаге. Книжка «Люди и звери» Пришвина, которую она читала в трамвае. Дежурный перелистал её, встряхнул. Ничего не выпало.

— Руки.

Она развела руки. Он провёл ладонями по бокам пальто, быстро, как бы по привычке, без интереса. Ладонь остановилась на уровне её рёбер. Задержалась на секунду. Две.

Вера не дышала.

— Тесто, что ли, носите? — сказал дежурный и усмехнулся.

— Кофта вязаная, — тихо ответила она. — Шерстяная. Зябко.

— Зябко, — согласился он. Убрал руку. — Проходите.

Она вышла на улицу, в мокрый снег, который тут же залепил лицо, и только на углу Шпалерной, у чугунной ограды, поняла, что дрожит.

* * *

Дома, в коммуналке на Петроградской, было шумно. На кухне три соседки одновременно что-то жарили на примусах, и запах стоял такой густой, что хотелось разрезать его ножом. Из-за двери Кацманов играло радио. У Вериной двери на гвозде висело чужое пальто.

Её комната была девять метров. Кровать, стол, шкаф, этажерка, на этажерке стопка книг и фотография отца в рамке. Отец, Илья Иванович, до тридцать пятого года работал бухгалтером на Кировском заводе. Потом его не стало. Вера не говорила, куда он делся. Анкету она заполняла так: «отец умер». Это была почти правда, и она научилась произносить эти слова ровно, без запинки, как таблицу умножения.

Она заперла дверь на ключ. Села на кровать. Достала лист.

Расправила на колене. Бумага была тонкая, почти прозрачная, чёрная с одной стороны, с блестящим, слегка маслянистым налётом. Вера подошла к окну и повернула лист к свету уличного фонаря.

Строки проступали сразу. Не сплошным текстом: двумя слоями, один поверх другого, и глаз не сразу учился их разделять. Потом разделял, как слышишь два голоса в одной комнате.

Один голос говорил: *Нет, не признаю.*

Другой говорил: *Да, признаю.*

Один: *Мне ничего не известно. Я преподаю математику в школе на Васильевском острове.*

Другой: *В организацию входили Рогожин Н. И., Бельский А. А., Мецкерский В. П.*

Оба были набраны одной рукой, её рукой, одним и тем же шрифтом с чуть выбитой «е». И оба заканчивались одной и той же формулой, напечатанной дважды, чёрным по чёрному: *с моих слов записано верно.*

Вера села на пол. Прямо под окном, спиной к батарее, в пальто, с листом на коленях. Она сидела так долго. За стеной у Кацманов кончилась передача, потом пошли новости, потом диктор что-то читал про пятилетку. Она не слушала.

Она думала о человеке, который сказал «нет». Никогда его не видела. Не знала, высокий он или низкий. Но она печатала его слова утром, в первом варианте, и они были ровные, спокойные, терпеливые. Он объяснял следователю, как учитель объясняет ребёнку. А потом, часом позже, эти же слова заменили.

Кто-то решил, что он скажет «да». И она это напечатала.

Она сама не заметила, как заплакала. Беззвучно, не вытирая лица, как плачут те, кто давно привык не издавать звуков. Слёзы капали на копирку и расплывались жирными пятнами. Вера спохватилась, вытерла лист рукавом, и ей вдруг стало страшнее, чем у проходной: она испортила улику. Она назвала это про себя именно так, улика, и слово остановило её, как удар.

Улика чего?

* * *

Она не спала. Часа в три ночи встала, зажгла настольную лампу под платком, чтобы свет не пробивался под дверь, и стала думать, что делать.

Сжечь. Это было первое, что приходило в голову. Печка в комнате не топилась, но на кухне были примусы. Только на кухне всегда кто-то есть, даже ночью: Кацманы вставали в пять, а дворник Степан Никитич любил курить у чёрного хода. Сжечь в пепельнице? Копирка вонючая, дым густой. Утром весь коридор будет знать.

Выбросить. Куда? В мусор, в Неву, в урну на углу? Копирка не тонет и не рвётся, а на бумаге у неё написан её собственный шрифт, и любой, кто знает «е» с отбитой ножкой, найдёт её за полдня. Все машинки в Большом доме были сданы на учёт, и от каждой хранился образец.

Спрятать. Это было самое глупое решение, и она выбрала его почти сразу.

Она сложила лист вдвое, потом ещё, превратила в плотный чёрный квадратик и пошла к этажерке. Вынула «Люди и звери». Раскрыла корешок. Между сгибом и переплётом, где книжка была склеена не до конца, она прощупала узкий карман, куда лист вошёл так плотно, что выпуклости не было видно. Закрыла книгу. Поставила на полку между Чеховым и учебником стенографии.

Потом села на кровать и посмотрела на стопку.

Она просто положила туда семьдесят две строки. Две правды, одну поверх другой.

Она не знала, зачем. Не знала, что с этим делать. Но понимала, что сжечь его не сможет. Это было бы как убить человека во второй раз.

* * *

Утром Анна Марковна встретила её на пороге бюро.

— Громова. Зайдите ко мне в обед.

Вера кивнула. Села за свой стол, заправила бумагу, отбила первую строку. Нина что-то весело рассказывала про сапоги. Стрекот. Раз, два, три.

Вера печатала четыре часа, ни разу не ошибившись.

В обед она подошла к столу у окна. Анна Марковна сидела над тетрадью, как вчера. Рядом лежал маленький свёрток в газете.

— Закройте дверь.

Вера закрыла.

— Сядьте.

Она села на край стула.

Анна Марковна долго молчала. Потом развернула газету. Внутри лежала пачка новой копирки, не выданной, не учтённой, шесть листов, аккуратно обрезанных по краю.

— Это не по счёту, — сказала она. — Я взяла из запаса. Если спросят, скажу, что испортила в тетради. Никто не спросит. Там никто ничего не считает, кроме того, сколько вышло.

Вера смотрела на копирку.

— Я не...

— Громова, — сказала Анна Марковна тем же ровным, экономным голосом. — Я работаю в этом доме с двадцать пятого года. Я видела, как менялись замки, ящики и начальники. И я знаю, как выглядит человек, который вынес то, чего выносить нельзя. Он ходит иначе. Держит плечо.

— Я ничего...

— Не говорите. Я не хочу знать, что именно. Я хочу, чтобы вы поняли одно. — Анна Марковна положила ладонь на свёрток. — Первый лист всегда виден. Второй виден, если посмотреть. Третий виден, только если знаешь, куда смотреть. А четвёртый, последний, остаётся у тех, кто печатает.

Она подвинула свёрток через стол.

— Берите.

— Зачем?

— Затем, что вы будете делать это ещё много раз. А если вы будете делать это по-дурацки, вас поймают. И тогда вам придётся писать вот так, — она кивнула на дверь, туда, где этажом выше сидели следователи, — но уже с другой стороны стола.

Вера взяла свёрток. Он был лёгкий, почти невесомый. Она сжала его в руке и вдруг ясно поняла, что с этой минуты ей придётся идти через проходную каждый день, пока это не кончится.

Или пока не кончится она.

— Как вас зовут? — спросила Анна Марковна. — По имени и отчеству.

— Вера Ильинична.

— Знаю. Я спросила не для того. — Анна Марковна впервые за два года чуть улыбнулась, одним уголком рта. — Просто хотела услышать, как вы это скажете.

Вера сказала.

Колокольчик на чьей-то машинке звякнул за стеной. Потом ещё один. Потом застрекотали все разом, девятнадцать каталок сразу, и бюро снова превратилось в дождь по жести.

Вера вернулась за свой стол. Положила свёрток в нижний ящик. Заправила чистый лист.

Руки уже не дрожали.

Протокол допроса. 1937 года, ноября 15 дня.

Глава 3. Под диктовку

Через три дня её вызвали в шестой кабинет.

Раньше это случалось редко. Протоколы носили курьеры, листы приходили и уходили, а людей, которые говорили слова, Вера не видела. Машинистка и допрашиваемый находились в одном здании, но в разных мирах, и этажи между ними считались так же прочно, как слои бумаги в каретке.

— Вера Ильинична, — сказал Кравец, не вставая из-за стола. — Выручайте. Стенографистка заболела, а запись нужна сегодня. Печатать будете прямо здесь, под диктовку.

В кабинете стоял стол, а на нём пишущая машинка «Ундервуд» с вынутой ручкой каретки. Вера знала такие: их держали для ночных дежурств. На подоконнике лежала стопка бланков. Окно было покрашено белым до половины, и казалось, что за ним всегда пасмурное утро.

Она села. Руки легли на клавиши сами. Из ящика стола Кравец достал пачку копирки, шесть листов, и положил рядом, не глядя.

— Не по счёту, — сказал он. — Мы тут сами считаем.

И улыбнулся мягко, как улыбаются, когда делятся маленьким секретом. Вера опустила глаза.

Дверь открылась. Конвоир, невысокий, с бритой шеей, ввёл человека и усадил на табурет у стены. Человек был худой, в мятом пиджаке без пуговиц. Лицо серое, под глазами синие тени. Очков не было, и от этого он щурился и казался растерянным, как человек, у которого отобрали последнюю привычку.

Она узнала его сразу, хотя никогда не видела. Лозинский Борис Аркадьевич, математик.

Он был ниже, чем она себе представляла. И голос у него оказался не низким, а сухим и тихим, как шорох бумаги.

— Садитесь, Борис Аркадьевич, — сказал Кравец. — Мы закончим быстро.

* * *

Протокол был дополнительный. Кравец ходил по кабинету с листком в руках и диктовал, а Вера печатала. Он ронял слова осторожно, по одному, словно боялся расплескать.

Вопрос: Вам предъявляются показания Рогожина Н. И. Подтверждаете ли вы, что он участвовал в совещании на квартире Бельского А. А. в марте тысяча девятьсот тридцать седьмого года?

Вера отбила вопрос. Звон колокольчика прозвучал в тишине кабинета слишком звонко.

Лозинский молчал. Он смотрел на свои руки. Пальцы у него были тонкие, с жёлтыми пятнами от мела, и одно из них, мизинец на левой, было странно выгнуто и неподвижно.

— Борис Аркадьевич, — мягко сказал Кравец.

— Я не знаю, что такое совещание на квартире, — ответил Лозинский. — Я бывал у Бельского. Мы играли в шахматы.

Кравец остановился и посмотрел на Веру.

— Так и записывать? — спросила она неожиданно для себя. Голос прозвучал хрипло.

Следователь помолчал. В этой паузе было что-то почти человеческое, усталое.

— Нет, — сказал он. — Не так. Давайте с самого начала.

Он снова стал диктовать. Вопросы были те же, а ответы звучали иначе, чем сказал Лозинский. Вера печатала, и каждое слово ложилось на бумагу ровно, чётко, с отбитой «е». Она не поднимала глаз, но видела краем зрения, как человек у стены сидит неподвижно, как конвоир переступает с ноги на ногу, как за окном, покрашенным белым, плывёт серый свет.

Ответ: Да, подтверждаю. Совещание на квартире Бельского А. А. состоялось в марте тысяча девятьсот тридцать седьмого года. На нём присутствовали Рогожин Н. И., Мещерский В. П. и я.

Она отбила последнее слово. Каретка отскочила. Колокольчик.

Вера не видела Кравеца. Но слышала, как он хрустит бумагой и вздыхает. Это был вздох человека, которому тоже трудно, и именно в этом заключался весь ужас: ему было трудно, и он всё равно продолжал.

— Борис Аркадьевич, — сказал он наконец. — Мне нужна ваша помощь. Вы математик, вы понимаете, что такое план. Нам спустили цифры. Мне нужно столько-то человек, понимаете? Если не вы, то кто-то другой. Рогожин, Бельский, Мещерский. Они всё равно уже подписали. Вы можете только подтвердить, а можете не подтверждать, но тогда вам будет хуже, и им лучше не будет.

Он говорил тихо и очень искренне. Вера слышала, что он не лжёт. Он действительно верил в то, что говорил, и в этом было самое страшное.

Лозинский долго молчал.

— Это математика? — спросил он наконец.

— Что?

— То, что вы называете планом. Это арифметика, — сказал Лозинский. — Математика началась бы с вопроса, возможно ли это вообще.

Кравец усмехнулся без злости.

— Вы шутите.

— Нет, — тихо сказал Лозинский. — Я никогда не шучу про числа.

Он поднял голову. Впервые. И посмотрел не на следователя, а на Веру. Прямо, коротко, так, как смотрят на человека, с которым случайно оказались в одной лодке.

— Девушка, — сказал он. — Вы печатаете без ошибок.

Вера замерла.

— Это хорошо, — продолжил он. — Когда пишут без ошибок, потом легче читать.

Конвоир шагнул вперёд. Кравец мотнул головой: не надо.

— Подпишите, — сказал он.

Вера вынула листы из каретки. Она не заметила, как это сделала. Положила на стол: сверху первый экземпляр, под ним копірка, под ней второй, и дальше. Кравец подвинул их Лозинскому и подал перо.

Лозинский взял перо левой рукой, потому что правая висела вдоль тела неловко, как не своя. Он расписался внизу страницы, медленно, с наклоном. Потом дописал сам, не дожидаясь подсказки, формулу, которую в таких местах писали все: *С моих слов записано верно, мною прочитано.*

Почерк у него был красивый. Чёткий, ровный, почти типографский.

Он положил перо и снова поднял глаза.

— Вы тоже читали, — сказал он Вере. — Не только печатали. Это видно.

Конвоир увёл его.

* * *

Когда дверь закрылась, Кравец долго стоял у окна. Потом сел, достал папиросу и закурил, чего никогда раньше при ней не делал.

— Вера Ильинична, — сказал он. — Не думайте, что я... — Он замолчал. Потом махнул рукой. — Ничего. Вы свободны. Копии отнесите в канцелярию.

Она собрала листы. Четыре экземпляра, и копірку, которую он ей позволил оставить на столе. Копірка лежала сверху, чёрная и тонкая.

Вера задержалась на секунду.

— Сергей Павлович, — сказала она. — Копірку куда?

— В ящик, — не оборачиваясь, ответил Кравец. — Как всегда.

— Понятно.

Она вышла. Прошла по коридору, спустилась на четвёртый этаж, и только у двери бюро остановилась и разжала левую руку.

В ладони лежал маленький свёрнутый комочек, плотный, чёрный. Она вынула его из стопки так легко, что сама не заметила, когда успела: пока Кравец стоял спиной, пока Лозинский смотрел ей в глаза, пока конвоир шагнул вперёд. Руки сделали это сами, как они делали сотни раз с чистыми листами.

На копирке, она знала, остался отпечаток последней страницы. Подпись. И те четыре слова, которые Лозинский дописал собственной рукой, которых не было в черновике и которые не помнил никто, кроме неё.

Мною прочитано.

Вера вошла в бюро. Села за стол. Достала из ящика свёрток Анны Марковны и положила комок внутрь.

Потом заправила бумагу и начала печатать.

Вечером, дома, при закрытой двери, она достала «Люди и звери» и вынула из корешка первый лист. Расправила. Положила рядом новый. Долго смотрела на два чёрных квадрата, как на карту двух городов.

А потом взяла карандаш и на обороте старой квитанции за электричество, мелко, без заглавных, стала писать фамилии.

Лозинский Б. А.

Рогожин Н. И.

Бельский А. А.

Мещерский В. П.

Четыре строчки. Она посмотрела на них и добавила пятую, внизу, поменьше:

Кравец С. П.

Потом зачеркнула и написала снова, без точек, ровно, как печатала: *Кравец Сергей Павлович.*

Список она вела, не загадывая, к чему он. Знала только, что кто-то должен записать то, что было на самом деле. И что в этом доме есть одно место, где такая запись возможна: между слоями копирки, в зеркале, где слова не лгут, потому что у них нет другого выбора.

Это был её второй протокол.

Глава 4. Главная книга

Нина пришла в девять вечера с половиной буханки хлеба и без стука.

В коммуналке стучать было не принято: двери открывались сами, когда у кого-то горел свет, а замки существовали для вида. Вера сидела на кровати в пальто, потому что в комнате было холодно, и перебирала квитанции. Увидев Нину, она успела сунуть их под подушку, но не успела придумать лицо.

— Ты чего? — спросила Нина. — Как будто я тебя в чём-то застала.

— Читала.

— Что читала?

— Квитанции за свет. Девятый раз в этом месяце не сходится.

— Ну так сходится же всегда, — сказала Нина и села рядом. — Ты у нас главный бухгалтер. На, ешь, пока тёплый. Мне на заводе дали по благу, там у одной тётки зять в пекарне.

Хлеб оказался чёрный, с кислинкой, совсем свежий. Вера отломала корку и поняла, что ничего не ела с утра.

Нина смотрела, как она жуёт. Круглое румяное лицо её в свете лампы казалось тоньше, чем днём. Под глазами лежали тени, которых Вера раньше не замечала. Она вообще не умела замечать, пока не научилась считать.

— Слушай, — сказала Нина. — Я хотела тебя спросить. Только ты не думай ничего.

— Спрашивай.

— У меня брат. Мишка. Электрик на «Красном путиловце». Его взяли в октябре.

Вера перестала жевать.

— Я тебе не говорила, — продолжила Нина быстро. — А что говорить? Все знают, что бывает. Просто пришли ночью, велели собираться. Он в тапочках вышел, представляешь? Мать потом три дня его ботинки носила в очередь, а их не взяли. «Передачи не принимаем».

Она говорила ровно, чуть насмешливо, как рассказывают чужую историю. Только пальцы теребили край скатерти.

— И вот я что подумала, — сказала Нина. — Ты же печатаешь. Ты же видишь бумаги. Может, ты как-нибудь... Нет, не смотри. Я не прошу. Я просто... Ты не могла бы глянуть в списках, если повезёт? Если попадётся Антонов Михаил Семёнович, тысяча девятьсот шестого. Просто чтобы знать. Живой или нет.

Вера положила хлеб.

Она знала, что нужно отказать. Первое правило бюро, которое нигде не было записано, но которое понимали все с первого дня: не смотреть в чужое. Не искать. Не запоминать то, что не напечатала сама. Нина знала это не хуже. И всё равно попросила.

— Я не могу обещать, — сказала Вера.

— Я знаю.

— Они не показывают списки. Мне дают отдельные протоколы, по одному.

— Знаю.

— Нина...

— Верка. — Нина вдруг улыбнулась, и от этой улыбки стало хуже, чем от слёз. — Я же не требую. Я говорю, если вдруг. Ты же всё равно читаешь, что печатаешь. Я видела. Ты глазами по строчкам бегаешь, пока руки работают.

Вера не знала, что на это ответить.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Если вдруг.

— Спасибо.

Нина доела хлеб, вытерла пальцы о юбку и встала. У двери остановилась.

— И ещё, — сказала она. — У вас тут Кацман. Он слушает.

— Что?

— Когда я шла по коридору, он стоял у вашей двери. С чайником. Чайник-то пустой был, я заметила. Просто стоял.

Она вышла. Дверь закрылась неплотно.

* * *

Вера долго не двигалась.

Потом встала, подошла к двери и заперла её на ключ. Постояла, прислушиваясь. В коридоре никого не было. Радио у Кацманов бубнило какую-то сводку. Где-то на кухне звякнула посуда.

Она вернулась к кровати, достала из-под подушки квитанции. Разгладила на колене. Сорок листков, мелкий карандашный почерк, фамилии без заглавных букв. Если Кацман действительно слушает, если он слышал шорох, если когда-нибудь решит зайти без приглашения...

Прятать надо было лучше. Хотя куда лучше, если у каждой стены есть соседи?

Она подняла голову. На этажерке, на верхней полке, стояла толстая книга в сером переплёте, с потёртым корешком и надписью от руки: *Главная книга. 1931*. Отцовская. Единственное, что осталось, кроме фотографии и очков.

Вера сняла её, положила на колени, раскрыла.

Это была бухгалтерская книга Кировского завода, которую отец принёс домой в тридцать первом по какой-то причине, давно забытой. Страницы в клетку. Слева «дебет», справа «кредит». Колонки цифр, написанные ровным мужским почерком, синими чернилами, с точными итогами внизу.

Отец учил её этому, когда ей было двенадцать. Сажал рядом за кухонный стол, давал карандаш и говорил: «Смотри, Верка. Бухгалтерия, это не про деньги. Это про то, что всё должно сходиться. Если пришло, значит, куда-то ушло. Если не сходится, значит, где-то врут. Или ты, или кто-то другой. Найди где. Всегда можно найти».

Она тогда считала на счётах, потом в столбик, потом в уме. Он гордился. Говорил матери: «Смотри, у нас дочь бухгалтер».

Вера провела ладонью по странице. Бумага была шершавая, чуть пожелтевшая. Колонки уходили вниз ровным строем.

Потом она взяла карандаш и между двумя страницами за декабрь тридцать первого, там, где отец оставил пустое поле для примечаний, мелко, как печатала, написала первую строку своей новой записи: *Лозинский Б. А. дебет: 72 строки. Кредит: 11*.

Книга приняла её без звука.

Никто не станет искать в бухгалтерской книге Кировского завода за тридцать первый год. Цифры в ней были слишком скучные, слишком старые, слишком безобидные. И, может быть, поэтому они лучше всего подходили для того, чтобы прятать правду.

* * *

На следующий день Кацман встретил её на лестнице.

Он был невысокий, сутулый, лысоватый, в вечных нарукавниках. Работал в какой-то артели счетоводом, носил очки с чёрной оправой и всегда здоровался первым.

— Доброе утро, Вера Ильинична. Как здоровье?

— Спасибо, хорошо.

— Холодает. — Он поправил очки. — У вас, кажется, поздно свет горит. Я не в упрёк. Просто, знаете, думаю: девушка молодая, а всё работает. Или читает?

— Читаю.

— Что читаете, если не секрет?

— Пришвина, — сказала Вера.

Это была правда. «Люди и звери» лежала на тумбочке, зачитанная до мягкости.

Кацман кивнул, медленно, как человек, который что-то взвешивает.

— Хорошо, — сказал он. — Хорошая книга. Моя жена любит Пришвина.

И пошёл вниз, шаркая, оставив после себя запах нафталина и табака. Вера стояла на площадке, держась за перила. Потом заставила себя разжать пальцы и пошла вверх, к двери, где ждал чемодан с вещами, которые берут с собой.

Глава 5. Чай

Кравец позвонил ей в бюро в начале декабря.

Звонок был по внутреннему телефону, в шесть вечера, когда половина женщин уже одевалась. Анна Марковна, снявшая трубку, молча протянула её Вере. Глаза у неё были внимательные и ничего не выражали.

— Вера Ильинична, зайдите в шестой кабинет, если свободны, — сказал Кравец. Голос в трубке звучал глухо. — Всего на несколько минут.

В кабинете горела одна настольная лампа. Свет был жёлтый, мягкий, и в нём лицо Кравеца показалось Вере моложе, чем днём: узкое, чисто выбритое, с высоким лбом и усталыми глазами. На столе стоял термос, две эмалированные кружки и блюдце с кусочками сахара.

— Присаживайтесь, — сказал он. — Чаю хотите? Горячий. Принёс из дома.

Она села. Взяла кружку обеими руками. Чай был крепкий, чуть горьковатый, с запахом смородинового листа.

— Спасибо.

— Не за что. Я понимаю, что поздно. Но днём не получается.

Он налил себе. Помешал ложкой, которой не было, пальцем по краю кружки. Они помолчали. Было слышно, как в коридоре кто-то идёт, и шаги затихают вдаль.

— Вера Ильинична, у меня к вам вопрос по службе. Не страшный. — Он улыбнулся, одним уголком рта. — На прошлой неделе я сдавал копирку в канцелярию. По моему счёту выходило, что одного листа не хватает. Один лист. Из той пачки, что я вам выдал в ноябре, когда вы печатали у меня под диктовку.

Вера держала кружку.

— Может быть, он остался на столе, — сказала она. — Или попал в какой-то другой комплект.

— Может быть. — Кравец кивнул. — Я сначала подумал о себе: я мог ошибиться. Я человек не очень аккуратный. Но потом перепроверил. Всё остальное сходится. Только один лист.

— Я помню, что вернула все.

— Я так и думал.

Он отпил, поставил кружку. Достал папиросу, но не закурил, положил на блюдце рядом с сахаром.

— Знаете, Вера Ильинична, мне не нужен этот лист, — сказал он. — Я просто хочу, чтобы вы поняли: я заметил. И никому не сказал.

Она молчала.

Секунда, две. За окном сигналила машина. Лампа потрескивала. Вера вдруг ясно увидела на столе рядом с папиросой маленькую белую бумажку с пятнами чернил: свою анкету. Ту самую, которую она заполняла, когда её брали на службу.

— Я посмотрел ваше личное дело, — сказал Кравец ровно. — В понедельник, по другому поводу. Там написано: отец, Громов Илья Иванович, умер в тридцать пятом году.

— Да.

— Я навёл справку, Вера Ильинична. Не специально. Так вышло. В списках Кировской больницы за тридцать пятый его нет.

Тишина стала такой плотной, что Вера слышала собственное сердце. Раз, два, три.

— Я не к тому, — быстро добавил Кравец, поднимая ладонь. — Не бойтесь. Я не собираюсь ничего делать. Я просто... Мне стало интересно. Вы так спокойно произносите «умер». Как таблицу умножения. Я такого спокойствия ни у кого не видел.

— Это правда, — сказала Вера. — Он умер.

— Конечно.

— Для меня он умер.

— Понимаю.

Он посмотрел на неё долгим, ничего не требующим взглядом. И она вдруг заметила, что он не хочет её испугать. Вернее, что он боится ровно так же, как она. Только по-другому.

— Вера Ильинична, — сказал он тихо. — Я не злой человек.

Она промолчала.

— У меня жена. И сын, пять лет. Живут в Пскове у тётки, я их сюда не вызвал, потому что комната... Неважно. — Он потёр переносицу. — У меня в отделе норма. Каждую неделю. Восемнадцать дел на следователя, потом двадцать пять, потом тридцать. Если я не дам план, меня снимут. И дадут моё место человеку, который будет работать иначе. Грубо. Вы понимаете, что я имею в виду.

— Понимаю.

— Я не говорю, что это оправдание.

— Нет, — согласилась Вера.

Он поднял глаза.

— Вы меня презираете?

Она подумала. Это был честный вопрос, и ответить на него следовало честно.

— Я печатаю, — сказала она.

Кравец усмехнулся, коротко и невесело.

— Это не ответ.

— Другого нет.

Они допили чай молча. Потом он встал, подошёл к шкафу, достал из верхнего ящика маленький бумажный пакетик и протянул ей.

— Возьмите. Это сахар. Настоящий, не рафинад. Жена прислала. Мне одному не съесть.

— Не нужно.

— Нужно. — Он вложил пакетик ей в руку, и пальцы его на секунду коснулись её ладони. Сухие, тёплые, чуть дрожащие. — Берегите себя, Вера Ильинична. Времена такие.

Она вышла из кабинета, держа сахар в кулаке.

В коридоре остановилась у окна. Литейный проспект лежал под снегом, тёмный и пустой. Только у подъезда внизу стояла очередь, которая не расходилась ни днём, ни ночью.

Она развернула бумагу. Шесть крупных кусков, жёлтоватых, слегка слипшихся. Вера положила один в рот. Сладость вдруг ударила в виски, как напатырь.

И она стояла, сосала сахар и думала о том, что человек, который только что налил ей чай, ровно через час подпишет приговор кому-то, чьё имя она сегодня напечатает.

И что оба эти факта верны одновременно.

Глава 6. Правила Анны Марковны

К декабрю в списке было сорок одно имя.

Вера записывала их не сразу. Сперва запоминала: пока печатала протокол, пока читала вопросы и ответы, пока отбивала подпись, имена укладывались в голову ровными столбиками, как цифры в бухгалтерской книге отца. Вечером дома она доставала квитанцию, потом вторую, потом третью (нести домой тетрадь было нельзя, а старые счета никто не проверяет), и переписывала по памяти мелким, без заглавных, почерком.

Рядом с каждым именем ставила не дату и не статью, а две пометки. Первая: *сказал сам* или *сказали за него*. Вторая: число строк. Сколько строк в первом ответе и сколько во втором. Чем больше расходились числа, тем яснее было, что случилось в промежутке между ними.

У Лозинского было семьдесят две против одиннадцати.

У Рогожина тридцать одна против сорока.

Это тоже была арифметика. Но другая. Не та, которую считал Кравец.

* * *

Анна Марковна никогда не говорила с ней об этом прямо. Она вообще не говорила прямо ни о чём. Но в начале декабря, в конце смены, когда бюро уже опустело, она подозвала Веру к своему столу у окна и протянула ей маленькую жестяную коробку из-под монпансье.

— Возьмите. Положите в неё то, что носите в книге.

Вера промолчала.

— Не отвечайте. Слушайте. — Анна Марковна говорила, не поднимая глаз от тетради. — Правило первое. Один лист в день, не больше. Если вынесли сегодня, завтра не выносите, даже если очень хочется. Правило второе. Никогда не оставляйте в кабинете ничего, чего нельзя объяснить. Если вас спросят, почему копирка лежит не там, где лежала, вы должны ответить, не думая. Третье. Не берите всё. Берите только то, что нельзя восстановить: последнюю страницу, где подпись, и первую, где фамилия. Середина везде одинакова. Тексты в этом доме пишутся по лекалам, они похожи друг на друга, как кирпичи. А вот имя и подпись принадлежат конкретному человеку.

Она наконец подняла глаза.

— И четвёртое. Не записывайте больше, чем нужно. Бумага горит, а голова остаётся. Записывайте только то, что вы без записи не вспомните через двадцать лет.

— Через двадцать лет, — повторила Вера.

— Да. — Анна Марковна взяла карандаш и аккуратно поставила в тетради крестик. — Будет время, когда кого-нибудь спросят, как это было. Тогда придёт кто-то, кому нужны будут не показания, а то, что осталось от показаний. Что вы думаете, что именно это ему понадобится?

Вера не знала, что ответить. Положила коробку в карман.

— А вы? — спросила она. — Вы тоже?

Анна Марковна не ответила. Она встала, подошла к окну и стала смотреть вниз, на Литейный. Вера подошла к ней и тоже посмотрела. У подъезда стояла очередь, длиннее, чем обычно. Женщины с узелками, мальчик в большой шапке, старик с палкой. Валил густой снег.

— Мой муж был инженером-путейцем, — сказала Анна Марковна. — Ему дали десять лет без права переписки. Печатала я. Что это за формула, мне объяснили через три года. Теперь вы тоже знаете.

Вера не пошевелилась.

— Так что да, — тихо сказала Анна Марковна. — Я тоже.

* * *

Они не дружили. Дружбы тут быть не могло: слишком много стен, слишком тонкие перегородки. Они только кивали друг другу по утрам и стояли иногда рядом у окна. Но между ними установилось что-то вроде договора. Анна Марковна приносила копирку. Вера приносила имена. Ни одна из них не просила другую прочесть вслух то, что лежит в коробке.

В бюро тем временем становилось хуже.

Работы прибавлялось. Теперь у каждой машинистки лежало по две-три стопки одновременно. Протоколы шли потоком, как зерно по ленте. Перестали выдавать новую копирку: говорили, что кончилась на складе. Вера понимала, что копирка осталась, но её берегут для чего-то другого. Для главных дел. Для тех протоколов, которые будут показывать наверху.

В середине декабря в бюро взяли ещё трёх женщин, молодых, весёлых, из комсомольского набора. Нина Вострикова, которая теперь называла себя старожилом, водила их по коридорам и рассказывала, где что лежит. Новенькие смеялись, и от этого смеха бюро стало на удивление похоже на обычную контору. Почти на санаторий.

Одну из новеньких звали Тася. Она печатала так быстро, что у неё горели кончики пальцев. В первый же день ей дали стопку на дом, как честь, и она вернулась утром бледная и гордая, говоря, что работала до трёх ночи.

Вера смотрела на неё и ничего не говорила. Она не могла ей сказать, что копирка напоминает всё. Что тысячи таких Тась уже сидели в этих стенах. Что это не работа, а вода, которая постепенно подтачивает берег.

Она просто печатала.

* * *

Двадцать второго декабря ей принесли очередной протокол.

Он пришёл не из шестого кабинета, а из одиннадцатого, со второго этажа, от незнакомого следователя, который подписывался одной буквой «Ф.». Лист был исписан крупным, торопливым почерком, с множеством помарок. Вера разложила стопку, проверила нумерацию, положила бумагу в каретку.

Протокол допроса. 1937 года, декабря 21 дня. Допрошен в качестве обвиняемого Рогожин Николай Иванович, 1894 года рождения, преподаватель физики.

Рогожин. Она знала это имя. Оно стояло в её списке, в третьей строке, с пометкой *31 против 40*. Значит, это уже второй его допрос. Она читала вопросы и ответы, стараясь отбивать механически, без мысли, но чем дальше, тем труднее становилось дышать.

Вопрос: Кто, кроме указанных вами лиц, поддерживал связь с организацией? Ответ: Связь с организацией поддерживали лица, имевшие доступ к служебным документам НКВД. Одна из них — машинистка Громова В. И.

Каретка отскочила. Колокольчик звякнул.

Вера не пошевелилась.

Рядом Нина Вострикова напевала что-то, отбивая такт по столу. В коридоре хлопнула дверь. За окном падал снег, тяжёлый, мокрый, в густых хлопьях.

Она прочла строку ещё раз. И ещё раз. Потом, не отрывая глаз от листа, положила пальцы на клавиши. Они лежали на стали, холодные, как на льду.

Следующий вопрос в черновике был: *Что вам известно о деятельности Громовой?*

Она знала, какой будет ответ. Он уже был написан, ждал своей очереди. Ей нужно было только набрать его.

Раз, два, три.

Глава 7. Заменить

Она напечатала.

Это нужно сказать сразу, без оговорок, потому что потом, много лет, она будет возвращаться к этому месту и искать в нём что-нибудь другое. Какую-нибудь паузу, колебание, вздох. Не было ничего. Пальцы сделали своё дело. Каретка скакнула, колокольчик звякнул, и в четырёх экземплярах появились слова: *Громова В. И., машинистка бюро, передавала сведения о ходе следствия через неустановленных лиц.*

Рогожин ничего такого, конечно, не говорил. Вера не знала Рогожина, и Рогожин, скорее всего, не знал её. Но следователь «Ф.» нуждался в звене между организацией и Большим домом: без звена история не сходилась, как дробь с остатком. Звеном могла быть любая из девятнадцати. Выпала она.

Она допечатала страницу, потом вторую. Вынула листы. Положила на стопку. Копирку, всю, до последнего полотна, сложила в ровную пачку и отнесла Анне Марковне.

Анна Марковна пересчитала. Подняла глаза.

— Три.

— Три, — сказала Вера.

— Подпишите.

Вера расписалась. Рука не дрожала, и от этого стало хуже, чем если бы дрожала.

Анна Марковна взяла перо, поставила в тетради крестик. Положила копирку в железный ящик. Повернула ключ дважды.

— Идите домой, Вера Ильинична, — сказала она. — Сегодня уже ничего не получится.

— Анна Марковна...

— Идите.

Вера ушла. Через проходную, мимо часового, мимо дежурного, не принеся ничего, кроме себя. Дежурный даже не взглянул. Она шла по Литейному и впервые за много месяцев смотрела на очередь у подъезда. Женщины в платках, узелки, чей-то мальчик. Она смотрела и думала: сколько из них стоят здесь потому, что кто-то вроде неё сидел наверху и стучал по клавишам.

Дома она долго сидела на кровати, не раздеваясь. В шкафу, в левом ящике, лежали вещи, которые берут с собой: тёплые носки, мыло, кружка, сухари в мешочке. Она собрала их ещё в ноябре. Сказала себе, что на всякий случай.

Потом достала жестяную коробку. Открыла. Квитанции лежали стопкой, сорок одно имя. Она взяла карандаш и под последней строкой написала: *Громова Вера Ильинична. 22 дек. Ска-зали за неё.* И рядом, мелко: *число строк: 2.*

Ночью никто не пришёл.

* * *

Утром двадцать третьего декабря место Анны Марковны у окна пустовало.

Вера поняла это ещё в дверях, не глядя. В бюро изменилась тишина: стрекот стоял прежний, но в нём не хватало одного голоса, одного движения, лёгкого шарканья ботинок между столами. На столе у окна лежала раскрытая тетрадь. Красный карандаш, положенный поперёк страницы. Рядом коробка с резинками.

— Взяли, — сказала Нина Вострикова.

Она сидела, не поднимая головы, и печатала сухо, быстро, без привычной песенки. Лицо у неё было белое, как бумага.

— Ночью. Соседка видела. Приехали в три. Она вышла сама, в пальто, с узелком. Сказала им: подождите, я закрою дверь.

Вера опустила на стул.

Нина продолжала печатать.

— Говорят, сама написала заявление, — сказала она, не глядя. — Вчера вечером. Принесла на второй этаж. Что-то про то, что она одна виновата. Что машинка, на которой работала Громова, числилась за ней, что она давала указания, что...

Нина замолчала.

— Что? — сказала Вера. Голос был чужой, сухой.

— Не знаю. Это всё, что говорят. — Нина наконец подняла глаза, и они были красные. — Вера, ты ведь печатала для них вчера? Для одиннадцатого?

Вера не ответила.

Через двадцать минут за ней прислали.

* * *

Кравец сидел за столом в шестом кабинете, как и в прошлый раз. Но на этот раз он встал, когда она вошла, и закрыл за ней дверь собственными руками. Лицо у него было серое. Он, видимо, не спал.

— Вера Ильинична, — сказал он. — Присядьте.

Она села.

— Протокол Рогожина, тот, что вы печатали вчера. Его нужно переписать.

На столе лежала стопка. Те же листы, знакомые уже по почерку, по помаркам. Но на первой странице, поперёк, красными чернилами, твёрдой рукой было выведено: *Заменить*.

Она смотрела на это слово.

— В чём замена? — спросила она.

Кравец не сразу ответил. Он обошёл стол, сел, взял папиросу, положил обратно.

— Фамилия, — сказал он. — Одна фамилия в двух местах. Остальное без изменений. Вы можете сделать это быстро.

Он подвинул ей страницу. Вера взяла.

Всё было точно так же, как вчера. Вопросы, ответы, подписи. Только в нужной строке чьей-то рукой, аккуратной, тонкой, почти женской, было вписано сверху, взамен зачёркнутого: *Гуревич А. М., старшая машинистка бюро*.

Она прочла.

Потом прочла ещё раз. И ещё.

— Это она написала? — спросила Вера.

— Заявление? Да. Сама. — Кравец смотрел в сторону. — Я говорил с ней вчера, поздно вечером. Она пришла к начальнику, а попала ко мне. Я пытался... — Он замолчал. — Она сказала, что Громова молода, ничего не понимает и работала по её указаниям. Что вся ответственность на ней. Что она не отказывается.

— Она знала, что Рогожин назвал меня?

— Не знаю, — сказал Кравец.

Он помолчал.

— Вера Ильинична. Я не буду врать, что это правильно. Вы понимаете, что от этого ничего не изменится: на её место найдут другое имя, если не это, так следующее. Но вот так сложилось. Бумага должна быть подписана к вечеру. Мне нужна ваша машинка.

Вера сидела неподвижно. В голове было пусто, как в кабинете, которого давно не топили. Вера не стала спрашивать, зачем. Анна Марковна всегда считала: из двух вычла одну и получила остаток.

— Хорошо, — сказала Вера.

— Вот и славно, — выдохнул Кравец.

Она села за «Ундервуд». Положила пальцы на клавиши. Он вложил в каретку четыре листа с копиркой.

Раз.

Она напечатала первую букву.

Два.

Вторую.

Три.

Колокольчик звякнул. Каретка скакнула. *Гуревич Анна Марковна, 1886 года рождения, старшая машинистка бюро.* Она набирала это ровно, не отрывая взгляда от строчки, и слова ложились на бумагу чёрными, чёткими, с отбитой «е». Всё как надо.

Кравец стоял у окна, повернувшись спиной.

Когда она закончила, подпись под «с моих слов записано верно» была чужая, не Рогожина. Не её. Подпись человека, который уже не придёт читать этот текст.

Она вынула листы. Положила на стол. Копирка лежала между ними, тонкая и чёрная.

— Копирку оставьте, — сказал Кравец, не оборачиваясь. — Я сам отнесу.

— Понятно.

Вера встала. Подошла к столу. Сложила копірку в пачку, аккуратно, ровно, как всегда. Положила сверху. Кравец отошёл от окна, взял её, не взглянув, и убрал в ящик.

Она вышла.

В коридоре остановилась. Прислонилась лбом к холодной стене и закрыла глаза.

Копирка осталась у Кравца. Она не вынесла ничего. Не было ни последней страницы, ни подписи, ни четырёх слов. Но Вера знала то, что не нужно было выносить: имя, фамилию, отчество, год рождения. Число строк. Две.

Это она запомнила бы и без квитанции.

* * *

Вечером она вернулась домой и достала жестяную коробку. Долго держала её в руках. Потом поставила на стол, раскрыла и взяла чистую квитанцию.

Писала долго. Первую строку: *Гуревич Анна Марковна, 1886.* Под ней: *Сказала за себя.* И ниже, после паузы, самую трудную: *Печатала я.*

Не оправдывалась и не обвиняла. Просто записала, как было. Это и был второй протокол: тот, который никто не диктовал и под которым не нужно было ничьей подписи. Протокол, где каждое слово можно было проверить по зеркальной бумаге.

Она положила квитанцию в коробку. Коробку в корешок «Людей и зверей». Книгу на полку, между Чеховым и учебником стенографии.

Потом выключила свет и легла, не раздеваясь.

За окном шёл снег. В коридоре у Кацманов тикали часы. Вера лежала и слушала, как они считают, и считала вместе с ними, потому что остановиться было нельзя.

Раз, два, три.

Сорок две ступени вниз. Восемнадцать плиток до лестницы. Семьдесят две строки.

Теперь их было много. Но она знала, где каждая.

* * *

Нина спросила про брата только в январе.

Они стояли в очереди в буфете, и Нина, не глядя на неё, сказала вполголоса, как говорят о погоде:

— Ну что? Не попадался?

Вера знала. Антонов Михаил Семёнович, электрик, 1906 года, лежал в её списке между Андреевым и Арбузовым: двадцатое декабря, формула приговора, одна строка. Она напечатала её за два дня до протокола Рогожина.

— Нет, — сказала Вера. — Не попадался.

— Ладно, — сказала Нина. — Спасибо, что глянула.

Она взяла свой чай и отошла к окну.

Вечером Вера открыла отцовскую книгу и вписала в графу, под цифрами за декабрь тридцать первого: *Антонов М. С. Нине сказала: не попадался.*

И подвела черту, как отец учил.

* * *

Конец Части первой

Часть вторая. Карточка

Берлин, март 1941 года

Глава 1. Тридцать семь граф

Герда Ленц любила порядок так, как другие любят музыку.

Не из педантизма, а из почти физического удовольствия: когда ящик с карточками задвигается без скрипа, когда корешки стоят ровно, когда на каждый вопрос найдётся своя графа, и графа заполнена. В Штеттине, где она выросла, у отца была аптека, и маленькой она часами раскладывала по ячейкам мелкие склянки с латинскими этикетками. Потом была библиотечная школа, потом городская библиотека, потом объявление в газете: *Требуется сотрудница с опытом работы с архивным материалом. Надёжность обязательна. Обращаться в Берлин.*

Ей было двадцать четыре. Она подала заявление, потому что хотела жить в Берлине.

Теперь был март сорок первого года, и в Берлине стояла сырая серая весна. Здание на тихой улице в западной части города раньше принадлежало банку, потом какому-то обществу, потом перешло в ведение учреждения, название которого в письмах сокращали до трёх букв. Вывески не было. На втором этаже, за дверью с табличкой «Специальное поручение», работали четырнадцать человек: восемь молодых учёных, четыре архивных работницы, один курьер и фрау Бройер, которая заваривала всем чай.

Герда сидела в третьей комнате, у окна, за столом с зелёным сукном. Перед ней стоял «Мерседес-Электра», который она любила больше собственных рук, и ящик из светлого дерева.

В ящике лежали карточки.

* * *

Первое, что она узнала о карточке, это что в ней тридцать семь граф.

Их напечатали в типографии, чёрным по белому, в таблице на обеих сторонах плотного картона. Герда выучила их наизусть за первую же неделю, как таблицу умножения.

1. Местность. 2. Земля или округ. 3. Дата процесса. 4. Источник сведений. 5. Фамилия, имя обвиняемого. 6. Пол. 7. Возраст. 8. Сословие. 9. Занятие...

И дальше, строка за строкой, до самой последней, сложнее всего поддающейся заполнению: 37. Примечания.

Были графы, которые читались легко. *Религия. Семейное положение. Имущество (конфисковано: да/нет).* Были графы, при чтении которых она сперва задерживала дыхание, а потом научилась читать, как читают меню. *Обвинение: колдовство / порча / сношения с дьяволом / иное. Способ допроса. Орудия пытки. Результат. Приговор. Исполнение.*

Каждая карточка описывала одно дело. Каждое дело, одну женщину. Реже мужчину. Иногда ребёнка, одиннадцати или тринадцати лет.

Они приходили из архивов. Из ратуш, из монастырских библиотек, из подвалов судебных палат, из частных коллекций в Тюрингии и Богемии. Выписки делали молодые учёные: они ездили, сидели в читальных залах, фотографировали протоколы, составляли конспекты. Конспекты привозили в Берлин, и в третьей комнате Герда переносила их на карточки.

Это называлось *картотекой*. Начальник отдела, доктор Ансельм Торбек, высокий сутулый человек лет сорока в круглых очках, называл её *фундаментом*.

— Мы строим фундамент, фрау Ленц, — повторял он, проходя мимо её стола. — Без фундамента нет науки. Нужно собрать всё, до последней карточки. Потом можно будет делать выводы.

Он никогда не говорил, какие.

* * *

Работа шла так.

Утром в понедельник курьер приносил в комнату новую порцию конспектов в серых папках, перевязанных тесьмой. Герда разворачивала, раскладывала, читала. Потом брала чистую карточку, вставляла в каретку и начинала печатать.

1. Местность: Бамберг (епископство). 3. Дата: 1628. 4. Источник: Staatsarchiv, Hexenakten.

Раз, два, три.

Она печатала быстро, ровно, не позволяя себе думать. Это умение пришло не сразу. Первые дни, когда она набирала *Способ допроса: Strappado, Daumenschrauben*, пальцы вдруг оспинались, как у человека, наступившего на гвоздь. Потом она научилась: графа это графа. Слово в графе это слово в графе. Оно ничего не значило, пока не легло на картон, а когда ложилось, оно уже принадлежало порядку.

Рядом с машинкой лежала копирка. Каждую карточку Герда печатала в двух экземплярах: оригинал уходил в основной ящик, по алфавиту местностей, а дубликат попадал во второй ящик, который стоял у фрау Бройер в шкафу и назывался «резервным». Никто никогда не открывал резервный ящик. Все знали, что он есть, как знают, что есть запасной выход на пожарной лестнице.

Герда любила копирку. Любила, как мальчики любят монетки: за тонкость и за то, что на ней остаётся что-то невидимое. Если подержать лист на свету под нужным углом, слова проступали зеркально, как следы на мокром песке. Она знала, что делать так нельзя. Не объясняли, почему. Просто в первую неделю фрау Бройер сказала: «Копирку мы возвращаем в конце дня», и этого было достаточно.

* * *

В тот вторник, десятого марта, в четыре часа дня, пошёл дождь.

Герда работала над папкой из архива во Франконии, привезённой доктором Лангером из Нюрнберга. Папка была толстая, почти сто страниц конспектов, и к вечеру Герда успела заполнить двадцать три карточки. Она знала, что начальство будет довольно.

Двадцать четвёртая карточка была сложнее остальных.

Конспект был написан торопливо, чьей-то лёгкой нервной рукой. Герда разобрала не сразу. *Hochstift Würzburg, 1628. Обвиняемая: жена мельника. Допрос трижды. Признание получено на четвёртый день. Записал протокол: Wraisen, писарь.* Дальше шла приписка карандашом: *Подпись под протоколом отличается от остальных. Другой почерк. Другие чернила?*

Она напечатала: 1. Местность: Вюрцбург. 3. Дата: 1628. 5. Фамилия: ... 9. Занятие: жена мельника...

Руки шли сами. Она дошла до графы 37.

Примечания.

Герда заглянула в конспект ещё раз. Доктор Лангер переписал внизу цитату из протокола, одну строчку, видимо, потому что она показалась ему любопытной. Латинская фраза, потом перевод его рукой. Строка из какой-то приписки писаря, сделанной на полях после признания, мелким почерком, другими чернилами.

Quod scriptum est, scriptum est. Но слова были не её.

Герда сидела над клавишами, держа руки неподвижно.

Что-то было в этой строчке. Не само по себе: фраза была обычная, формульная, писари любили закреплять документ такими словами. Но вот эта последняя часть, короткая, без латыни, добавленная, видимо, позже. *Но слова были не её.*

Кто-то, четырёхста лет назад, сидя над протоколом, где женщина признавала, что летала на метле и целовала дьявола, зачем-то написал на полях то, что знал сам.

Она не стала печатать эту строку в оригинал.

Не стала сознательно: просто не вставила в графу 37, потому что графа предназначалась для примечаний, а это было не примечание, а признание. Она напечатала в графе стандартное:

Протокол составлен писарем Wraisen. Подпись соответствует. Вынула карточку и положила в основной ящик.

Потом посмотрела на копирку.

Копирка осталась в каретке. Герда вытянула лист. Подняла к свету лампы, наклонила, и увидела зеркальный отпечаток своего собственного текста, чистый, правильный. Но поверх него, слабее, еле заметно, лежал другой слой. Видимо, она неплотно прижала. Видимо, оставила на копирке то, что собиралась напечатать и не напечатала: пальцы всё-таки дрогнули и успели набрать несколько знаков, прежде чем остановились.

Она разобрала их по буквам, как по следам.

...не её.

Дождь стучал по подоконнику. В коридоре фрау Бройер гремела чашками. Часы на стене показывали без десяти пять.

Герда положила копирку в ящик, сдала в конце дня. Фрау Бройер пересчитала листы и кивнула.

В тот вечер она шла домой, в комнату на Кайзераллее, под дождём, без зонта, и думала только об одном.

Сколько таких писарей было?

Сколько слов, написанных чужой рукой, лежит в тысячах карточек, которые она, Герда Ленц, заполнила по графам, как положено?

Глава 2. Графа двадцать девять

Зачем нужна картотека, Герде объяснили на третьей неделе, и объяснили так, как объясняют детям, что такое налоги: в общих чертах и без цифр.

Доктор Торбек собрал всех в большой комнате на втором этаже. Был вторник, обеденный перерыв, за окном лежал мокрый снег, и фрау Бройер разливала чай в тонкие белые чашки, которых хватило не на всех. Герда получила чашку с трещинкой. Она держала её двумя руками и слушала.

— Господа и дамы. — Торбек стоял у карты Рейха, исчерченной цветными булавками: красные, синие, жёлтые. — Мы работаем по поручению, которое имеет большое значение. Не буду называть имён, вы их знаете. Задача такая: установить подлинные масштабы и причины так называемой охоты на ведьм в Германии и за её пределами. На протяжении столетий враги германского народа внушали нам, что наши предки были невежественны и жестоки. Что они сжигали невинных женщин по суеверию. Мы должны проверить, так ли это. И показать, кто в действительности стоял за этими процессами.

Он помолчал.

— Мы полагаем, что за ними стояла Церковь. Возможно, и ещё кое-кто. Нужны документы.

Герда посмотрела на молодого сотрудника за соседним столом, Ганса Лангера, того самого, что привёз папку из Нюрнберга. Лангер не шевелился. У него были острые скулы и привычка смотреть на собственные руки, когда ему становилось неловко. Сейчас он смотрел.

— Девять миллионов, — сказал кто-то у окна вполголоса. — Кажется, так говорили в газетах.

— Мы не оперируем газетными цифрами, — ровно ответил Торбек. — Мы набираем материал. Выводы будут сделаны позже, на высшем уровне. Ваше дело, господа, сделать так, чтобы каждая карточка была заполнена добросовестно. Чем точнее данные, тем весомее будут результаты.

Он улыбнулся Герде. Просто так, как улыбаются хорошей работнице.

Она улыбнулась в ответ.

* * *

В тот же вечер, засидевшись после закрытия, потому что не хватало графы для сорок седьмой карточки, Герда впервые сделала то, чего ей никто не поручал: взяла двадцать карточек наугад и разложила их по графам.

Это было просто. Все тридцать семь граф были одинаковы, и можно было читать не карточку целиком, а один столбец. Она вынула, например, графу 14: *Кто возбудил дело?* И ответы были такие.

Бургомистр. Соседи. Соседка. Сосед и его жена. Деревенский сход. Священник (1). Староста. Соседи. Соседка. Дочь соседки. Сосед. Мельник. Мать мальчика, умершего накануне. Суд общины. Сосед. Бургомистр. Соседи. Купец (должник). Соседка. Сосед.

Священник был один из двадцати.

Она сидела с листом в руке. Свет ночной лампы дрожал на зелёном сукне. Внизу хлопнула дверь, потом стихла. Тихо шумели трубы.

Она вынула графу 21: *Кто судил?* Светский суд. Светский суд. Магистрат. Светский суд. Княжеский суд. Община. Светский суд. Магистрат. Церковный суд. Светский суд.

Графа 29: *Кому принадлежало имущество казнённой?* Здесь она задержалась дольше всех. *Бургомистру. Общине. Судье. Казне. Общине. Судье. Обвинителю. Общине. Сестре осуждённой. Судье.*

Герда не была учёной. Она не умела делать выводов, не умела строить гипотезы, и ей даже не пришло в голову назвать то, что она видела, словом «закономерность». Но она умела читать столбцы. Умела замечать, когда в столбце слишком много одинаковых строк, как аптекарь замечает, что в рецептах слишком часто повторяется одна и та же склянка.

И каждый раз вверху столбца стоял вопрос, а внизу ответ, и ответ был не тот, который обещал Торбек.

Она аккуратно сложила карточки обратно, в порядке, в каком взяла.

Утром она спросила у Лангера, как будто между делом, пока они стояли у чайника:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.